



Александр Генис
КОСМОПОЛИТ
*Географические
фантазии*

CoRpus

Александра Гениса
всегда интересно читать,
но путешествовать
с ним еще интересней.

ВЛАДИМИР СОРОКИН

Александр Александрович Генис

Космополит.

Географические фантазии

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6693547

Генис, Александр Космополит. Географические фантазии : АСТ:

CORPUS; Москва; 2014

ISBN 978-5-17-083645-1

Аннотация

Александр Генис – писатель, культуролог, радиоведущий, автор многих книг («Вавилонская башня», «Иван Петрович умер», «Довлатов и окрестности», «Колобок», «Фантики», «Камасутра книжника» и др.), в том числе написанных совместно с Петром Вайлем («60-е: мир советского человека», «Русская кухня в изгнании», «Родная речь», «Американа»). «Космополит» – лучшая путевая проза А. Гениса, собранная им в один том. Располагаясь в магической зоне между очерком и сновидением, историей и географией, экзотикой и бытом, поэзией и философией, эти опусы помогают всюду быть дома. Но космополит для Гениса – не столько гражданин мира, сколько квартирант Вавилонской башни и абонент Александрийской библиотеки. «Путешествие, – считает Генис, – опыт самопознания, физическое перемещение с духовными

последствиями. Встроив себя в пейзаж, автор его навсегда меняет».

Содержание

Поэтика дороги	6
Европейская тетрадь	9
Славянские древности	9
Зврк	17
Внуки империи	26
Мой Рим	34
По пути в Венецию	43
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Александр Генис

Космополит.

Географические фантазии

© А. Генис, 2014

© ООО «Издательство АСТ», 2014

Издательство CORPUS ®

Поэтика дороги

Дорога всегда служила шампуром, на который романист насаживал приключения. Но раньше герой редко осматривался по сторонам. Дон Кихот и три мушкетера настолько поглощены собой, что им некогда обсуждать достопримечательности. Сегодня проза далеко от них не отходит. Пристальное внимание к окружающему – знак снисходительного времени, позволяющего разглядеть окрестности. И в этом – смертельный риск для автора. Путевая проза опасно близко подходит к идиллии. Ей тоже не хватает конфликта, приводящего в движение литературу. Лишенная средств внутреннего передвижения, она заменяет его механическим перемещением – из точки А в точку Б. На этом маршруте усыпленный монотонной ездой автор вываливается из изящной словесности в какую придется. Нет ничего скучнее честных дорожных записок, где взятые напрокат знания соединяются с маршрутом отпуска.

Путевая проза – испытание писателя на искренность: она требует не столько искусного, сколько трепетного обращения с фактами. В эпоху заменившего эрудицию интернета именно в этом жанре литература ставит эксперимент, выясняя, чем мы отличаемся от компьютера. Ничем, если автор – акын с Википедией. Ученый плагиатор списывает с путеводителя, наивный – с действительности. Плохо и то и другое.

Украденный факт не может быть сокровенным переживанием, а реальности нет вовсе.

Пишущий странник напоминает мясорубку: входит одно, выходит другое, малопохожее. С одной стороны, например, архитектура, с другой – стихи. Но что же делает литературу путевой? Повод. Не впечатлениями дарит нас дорога, а состоянием. Путешествие – опыт самопознания, физическое перемещение с духовными последствиями. Встроив себя в пейзаж, автор его навсегда меняет.

К счастью, путешествие – чувственное наслаждение, которое, в отличие от секса, поддается описанию, но, как и он, – не симуляции.

Обращая рутину в экзотику, чужие, а значит, остранные, будни пьянят и тревожат. Как рапира, путешествие действует избирательно: оно меняет не всё, а каждого, позволяя жить в ином регистре – будто по новой. Путнику, словно младенцу, не угрожает банальность, ибо мир и к нему обращается на еще незнакомом языке. Чужая речь, иероглифы вывесок, архитектура, климат, диктатура.

В дороге мы ищем незнакомого, и, если вычитанное мешает настоящему, надо забыть все, что мы знали (но сперва все-таки узнать). Удавшееся путешествие – сенсорный сбой от столкновения умозрительного с очевидным. Сколько бы мы ни готовились к встрече, она должна на нас обрушиться, сметая фильтры штампов. И тогда окажется, что даже Эйфелева башня не имеет ничего общего с тем, чего мы от нее

ждали. Старомодная, но не старая, она не может устареть, как ажурный чулок.

Писать о путешествиях трудно, как обо всем, что смешивает плоть с духом в той же неопределенной пропорции, что боль, спорт и неплатонические связи. Выход – в откровенности, без которой невозможна любая интимность, но прежде всего – поэтическая.

Чтобы путевая проза была и путевой и прозой, она обязана быть авторской. Нас волнуют не камни, а люди – и то, что они чувствуют, глядя на камни. Отчет об увиденном – феноменологическое упражнение, описывающее лишь ту реальность, что поселилась в нашем сознании и сменила в нем занавески. Для такой операции нужна не только любовь к знаниям, но и просто любовь. Она соединяет человека с окружающим в акте интеллектуального соития, за которым тоже интересно подглядывать. Любовь служит марлей, отцеживающей в текст лишь те детали, что внушают ностальгию еще до того, как мы покинули пейзаж, почти заменивший родину.

Поэтому путевое нужно читать не до, не во время, а после путешествия, чтобы убедиться в том, что оно состоялось. Чужие слова помогают кристаллизировать свои впечатления, сделав их опытом, меняющим состав души. Иначе лучше ездить на дачу.

Европейская тетрадь

Славянские древности

Все началось с карпатских орлов. В Югославии шла война, и почта не работала. Бензина тоже не было. Автобусы не ходили, и связь поддерживали почтовые голуби. Но только до тех пор, пока их вместе с письмами не съедали голодные орлы, налетавшие из недалекой Румынии. Чтобы отогнать хищников, моя сербская переводчица была по дну кастрюли поварешкой. Орлы, делая вид, что пугаются, прятались в роще грецких орехов, откуда зорко следили за своим обедом – очередным почтовым отправлением. Оставалась только компьютерная связь, на которую уходил тот час в сутки, когда давали электричество.

Вокруг между тем, как уже было сказано, шла война. На нашем конце о ней писали странные вещи.

«Устав от несправедливости, – рассказывал один репортаж, – белградские писатели предложили соорудить в столице громадный стеклянный куб и наполнить его костями всех сербов, погибших на полях сражения за всю свою кровавую историю».

Другие, как вроде бы сообщило югославское телевидение, требовали призвать в армию неумирающих вурдалаков.

План предусматривал раздачу чеснока остальным солдатам, чтобы живые мертвецы по его запаху могли отличить своих от чужих, из НАТО.

Я не придумал эти своеобразные проекты, хотя и не смог найти им подтверждения. Мне хватало того, что такое могло быть сказано.

И все же в этой непростой стране выходили мои книги, совпадая, что на Балканах несложно, с социальными катаклизмами. Одна, например, появилась в разгар революции. По несчастному совпадению типография делила площадь с археологическим музеем. В него бунтовщики ворвались по пути к президентскому дворцу. В суматохе пропало золотое убранство кельтов. Прикрывая корысть свободолобием, толпа разорила заодно и типографию. С криком «Долой пропаганду Милошевича!» революция растоптала мою уже сброшюрованную книгу. Называлась она «Темнота и тишина».

В Белградском аэропорту память о недавних событиях охраняли автоматчики, одетые по манхэттенской моде – во все черное. Понятным в их речи был только мат. У выхода из зала висела табличка «Молимо, затворяйте ворота». Славянское родство обрушилось на меня, как встреча с забытым братом. Я понимал значение слов и даже выполнил то, к чему они призывали, но легкий семантический сдвиг уже выпихнул меня в параллельную вселенную, где все казалось слишком знакомым, чтобы быть настоящим.

Вот так, борясь с кошмаром, ты догадываешься по мелкому вранью деталей, что он тебе приснился. Меня давно уже не влечет насилие над реальностью. Грубый вымысел сам разоблачает себя, не оставляя привкуса загадки. Действительность безгласно стряхивает его, без ущерба для своей репутации. Куда труднее ей справиться с подножкой разума. Много раз я замечал за жизнью эти неприметные странности. Иногда они проявляют себя нудным воспоминанием, повторяющим бессмысленный, никуда не ведущий эпизод. Иногда – это незнакомое лицо, с непонятной целью копирующее знакомое. Иногда – облепившая язык фраза или привязавшийся мотив. Но чаще – нелепое мгновение, когда ты вдруг с обморочной ясностью видишь со стороны и себя, и свои занятия, и наигранность энтузиазма, с которым ты им предаешься. Тряся головой, как спрыгнувший с балкона кот, ты восстанавливаешь привычное равновесие, но испытанный морок уже не оставляет в покое, вынуждая подозревать реальность в измене.

Этот вывих сознания я переживаю каждый раз, когда оказываюсь в местах, настолько насыщенных историей, что под ее тяжестью действительность течет, словно металл под давлением. Белград к тому же выглядел, как Москва в конце перестройки. Из магазинов чаще всего встречались книжные, которых здесь зовут чудным словом «Книжара». Еще не успев разочароваться в чтении, сербы интересовались писателями и расспрашивали их. Мне досталась юная красави-

ца, которая сочетала обычную здесь неприязнь к Америке с прекрасным английским.

– Что значит для вас история? – начала она интервью.

– *Science Fiction*, – выпалил я, не успев задуматься.

На этом разговор надолго прервался. В этих краях история продолжалась, в моих, как тогда стало модно считать, она уже свершилась.

По-русски лучше всех моих знакомых славистов говорит профессор с хрестоматийным именем Джон Браун.

– Как вас угораздило выбрать такую профессию? – спросил я его, как всех, кто нами интересуется.

– Родительскую библиотеку, – издалека начал он, – составляла книга «Сокровища мировой литературы» в одном нетолстом томе. Отец выиграл его в лотерею на балу пожарных. У нас, в Иллинойсе, тогда было два развлечения: осенью – охота, весной – смотреть на новые марки машин в автосалоне. У русских хотя бы была история...

– ...которая убила моих дедов: одного – Сталин, другого – Гитлер, – сказал я с типичным высокомерием жертвы, которое свойственно нашим соотечественникам, когда речь заходит об исторических катаклизмах.

– Вот видите! – не понял меня профессор. – А мои деды умерли сами, потому что были никому не нужны.

Тоска по истории – редкая болезнь. В Америке она встречается не чаще славистов. Бодрийяр даже уверял, что насто-

ящая история, как настоящие вина, не переносит перевозки через океан. Это, однако, зависит от маршрута, ибо история все-таки добирается до Америки, но – Латинской. Другое дело, что мы ее мало знаем. Только от перуанского экскурсовода, добродушной тетки с хозяйственной сумкой, я узнал, что ее родина вела пять пограничных войн с соседним Эквадором.

– Кто победил? – зачем-то спросил я.

– Четыре: один, – сказала она неуверенно, – или три: два, но точно в нашу пользу.

Неудивительно, что магический реализм родился в Южной и не прижился в Северной Америке. Октавио Пас говорил, что Мексику от ее северного соседа больше всего отличают вкусы. «Американцы, – писал поэт, – любят криминальные истории, мы – волшебные сказки».

Водораздел образует фантазия. Мифы ведь не бывают произвольными, их нельзя придумать, они вырастают сами из унавоженной историческим вымыслом почвы. И органичность национального воображения – единственный критерий истины.

Психоаналитик так толкует сны. Он, чего не знают непосвященные, не может наврать, ибо о правоте трактовки способен судить только сам пациент. Прозрачным сон становится лишь тогда, когда мы (всегда с чужой помощью) проникаем в смысл диалога, который подсознание ведет с сознанием

на правдивом языке образов: духовная жизнь не знает лжи.

Это не значит, что сны (как и национальные мифы) не врут, еще как! Но узнаем мы об этом, лишь проснувшись, ибо, погрузившись в сновидение, мы топим в нем свой сомневающийся картезианский разум и принимаем за чистую монету все, что показывают.

Таким образом, мы, конечно, узнаем больше о себе, чем об окружающем, но это – универсальное метафизическое препятствие. Его не обойти, меняя жанр описания. Как сказал один историк, «наша профессия подобна фотографии: она всегда обманывает». Хотя бы потому, что у снимка есть рама.

И все же я люблю историю. Она всегда разная. Одну историю можно рассказывать, как Николай Карамзин, другую – живописать, как Василий Суриков, третью изобразить, как Алексей Герман. Мою историю можно увидеть, как сон – сквозь смех, слезы или вожделение.

Явь без сна порождает неполную, как у андроида, жизнь, лишенную потусторонней глубины. География без истории вырождается в туризм: перемещение без перевоплощения, движение без трансформации.

Нет кроны без корней. Для них нужна почва. А всякое почвенничество – исторический сон о родине. Обычно – страшный. Именно поэтому я предпочитаю смотреть чужие сны. Зная о последствиях, я категорически не доверяю той почве, с которой связан кровью, языком, даже – алфавитом.

Амбивалентность моего статуса в Белграде объясняло то обстоятельство, что я оказался в интересном положении – выходцем сразу из двух стран, отношение к которым было диаметрально противоположно. Что и понятно: на площади еще дымились руины уродливого Генерального штаба, так аккуратно расколотого американскими бомбами, что в по-польских особняках по соседству не вылетели стекла. Делая вид, что не замечаем разрушений, оплаченных и моими налоговыми долларами, мы дружески беседовали с хозяевами – по-английски, но о России. Вынужденный принять двусмысленность ситуации, я чувствовал себя как знакомый двуглавый орел, наследниками которого мы все тут считались.

Первым мне об этом напомнил Милорад Павич.

– В газетах пишут, – сказал я ему, набравшись наглости, – что вы – последний коммунист.

– Нет, я – последний византиец, – непонятно объяснил Павич и повел на спектакль, поставленный по его роману «Хазарский словарь».

Театр в разоренной войной и тираном столице покорял щедрой роскошью. Он являл собой многоэтажную жестяную воронку, выстроенную специально для постановки. Из подвешенного к небу прохудившегося мешка на голую арену сыпались песчинки, бесчисленные, как время. Борясь с ним, спектакль растил миф об умирающем народе. Принимаясь на неплодородной песчаной почве, миф, ветвясь, как проза

Павича, оплетал консервную банку театра и убеждал его зрителей в оправданности всех жертв.

Радуюсь тому, что не понимал ни слова, я следил за игрой мускулистых мужчин, раздетых женщин и лоснящихся лошадей. В толпу на сцене затесался даже американец. Играл он, естественно, дьявола. Мы познакомились чуть позже, на приеме, где он заворачивал в салфетки крохотные дипломатические бутерброды для изголодавшейся в гастролях труппы.

– Дикий Восток, – с восторгом сказал актер, согласившись признать меня, как все тут, за соотечественника. – На английском я говорю только на сцене, где все равно не понимают, а на здешнем выучил одно слово: «Живеле!»

– На здоровье! – охотно откликнулся я, и мы опрокинули, умело затаив дыхание, по рюмке 60-градусной ракии. Уже набравшись опыта, я знал, что она, как кухонный газ, горит синим пламенем и так же опасна при приеме внутрь. Как всех американских экспатов, этого янки принес в Старый Свет исторический вихрь, от которого сбежали его предки. Но бывает, что и наши бегут за историей.

– Из вернувшихся, – сказал мне один русский, но бывший израильский писатель, – уже можно собрать целый город.

– Вот и хорошо, – обрадовался я.

– И назвать его, – задумчиво добавил он, – Мудоград.

Зврк

Отель стоял в прозрачной березовой роще. Южная весна походила на северную, и ветерок играл почти пустыми ветками. В березках мочился юноша в трениках.

– Лель, – решил я, входя в двухэтажный вестибюль.

Писатели делили гостиницу с хоккеистами, собравшимися в Новый Сад на чемпионат мира.

– *Tere-tere*, – закричал я парням в синих майках с надписью «EESTI».

– Гляди, Лёха, – сказал хоккеист такому же белобрысому приятелю, – эстонец.

Другой изюминкой отеля был ресторан «Тито» с поясным портретом вождя, выполненным в дерзкой манере соцреалистического сезаннизма. Среди мемориальных вещей я заметил окурочок толстой сигары. Однажды Тито встречал тут Новый год. На память о торжестве остался аутентичный сервиз.

– Возможно, этой ложкой, – сказал пожилой официант, принеся суп, – ел Тито.

– Возможно, этой вилкой, – продолжил он за вторым, – ел Тито.

– Возможно, этим ножом...

Я вздрогнул, потому что в моем детстве Тито обычно называли «кровавой собакой», и прервал старика вопросом:

– А кто Тито был по национальности?

– Маршалом, – отрезал официант, и я остался без кофе. Даже с ним здесь непросто.

– Знаете, – спросили тем же вечером писатели, – как по-нашему будет кофе?

– Кофе? – рискнул я.

– Кафа.

– А по-хорватски – кава, – добавил один писатель.

– По-боснийски – кахва, – заметил другой.

– По-македонски – кафе, – вставил третий.

– По-черногорски – эспрессо, – заключил Горан Петрович.

Над Черногорией здесь принято посмеиваться, потому что она поторопилась найти себе отдельное место под солнцем, да еще у моря. Поводом к отделению послужили три уникальные буквы, на которые черногорский язык богаче сербского. Проблема в том, что букв этих никто не знал, и русские, открывшие и купившую эту чудную страну, привезли их с собой.

Включив в номере телевизор, я услышал голос диктора: «Наличие кэша, без наличия кэша, наличие без кэша».

– Сербский, – решил было я, но потом заметил в углу буквы «РТВ».

Русскому, впрочем, говорить по-сербски просто, но долго. Если перечислить все синонимы, то рано или поздно один из них окажется сербским словом.

Утром я нашел среди мраморных колонн газетный киоск и спросил у приветливой продавщицы:

– У вас есть пресса на английском?

– Конечно, – удивилась она, – скоро завезут.

– К вечеру?

– К лету.

Оставшись без иностранных новостей, я ограничился местными. В этих краях только римских императоров родилось шестнадцать душ.

Обычно, попав в незнакомый город, я описываю архитектурные достопримечательности, делая это по той же причине, по которой Швейк советовал фотографировать мосты и вокзалы – они не двигаются. С людьми сложнее, если они не славяне. С ними мы быстро находим общий язык, потому что он действительно общий.

– Чего у нас больше всего? – спросила меня дама с радио.

– Того же, – честно ответил я, – что и у нас: эмоций.

– Это комплимент?

– Скорее – судьба.

Между тем литературный фестиваль вошел в силу, и меня представили переводчице.

– Мелина, – сказала она.

– Меркури? – вылетело из меня, но я оказался прав, потому что отец назвал дочку греческим именем из любви к актрисе безмерной красоты и радикальных убеждений.

Мы подружились по-славянски стремительно. Душа Ме-

лины не помещалась в худом теле и была вся нараспашку. Тем более что она пригласила в гости, а чужое жилье, как подробно демонстрировал Хичкок, – собрание бесспорных улик, и я не стеснялся оглядываться. На балконе стояли пара лыж и два велосипеда. В передней висела гитара, на плите – чайник на одну чашку. Книг было умеренно, компьютер – переносной. Остальное место занимала раскрашенная по-детски яркими красками карта мира. Туда явно хотелось.

Литературный фестиваль открылся в старинном особняке. Раньше здесь располагался югославский КГБ. За стеной по-прежнему дико кричали, но из динамиков и под гитару.

Когда дело дошло до официальных речей, выяснилось, что Мелина переводила хорошо, но редко.

– Этого, – говорила она, – тебе знать незачем.

– А этого, – послушав еще немного, добавила она, – тем более.

Меня подвели к высокому и спортивному мэру.

– Мне нравится, – льстиво начал я, – ваш город...

– Мне тоже, – свысока ответил он.

Но тут нас, к счастью, прервала музыка. Ударила арфа: Гайдн, Эллингтон, что-то батальное. Одетая лилией девушка не жалела струн, но скоро одну музу сменила другая. Начались чтения. Сперва в переводе на сербский звучала венгерская проза, потом – словенская, затем – македонская. За столом, впрочем, выяснилось, что все авторы учились на одном курсе, играли в одной рок-группе и вместе издавали стенга-

зету «Знак» – про Лотмана. Поэтому мне удалось без труда вклиниться в беседу.

– Живеле! – закричал я, и все подняли «фракличичи», филигранные рюмки-бутылки с ракией. Как русскому, мне ее наливали в стакан.

Чокнувшись с соседом, я обнаружил в нем тезку. Чтобы не путаться, мы решили звать его Александром Македонским. Он не спорил и рисовал на салфетке карту родовых владений нашего эпонима, которые упорно не попадали в Грецию. Моего собеседника это радовало, греков бесило, из-за чего Македонию не брали в Европу.

– Реакционеры, – кричал он, – они не знают новой географии. С падением Берлинской стены исчез целый край света. Западная Европа теперь кончается Белоруссией, с которой начинается Западная Азия.

– А сейчас мы – где? – не сдержал я любопытства.

– Западные Балканы, – решительно вмешался другой писатель.

– Восточное Средиземноморье, – поправил его третий.

– Один хрен, – резюмировал четвертый, который лучше всех говорил по-русски.

Обшитая дубом гимназия, самая старая в Сербии, больше походила на Оксфорд, чем на среднюю школу. В такой мог учиться Булгаков и учить «человек в футляре». На стене актового зала висел Карагеоргиевич в алых галифе. За спиной

с темного портрета на меня глядел первый попечитель – Сава Вукович в меховом жупане. Гимназии было триста лет, ее зданию – двести, ученикам – восемнадцать.

– Какова цель вашего творчества? – спросили они.

Первые десять минут коллега слева, усатый автор сенсационного романа «Лесбиянка, погруженная в Пруста», отвечал на вопрос сидя. Следующие пятнадцать – стоя. Наконец он сел, но за рояль, и угомонился только тогда, когда у него отобрали микрофон, чтобы сунуть его мне.

– Нет у меня цели, – горько признался я, – а у творчества и подавно.

Молодежь разразилась овациями – им надоело сидеть взаперти. Выбравшись во двор, мы разболтались с гимназистками. Они учили русский, чтобы заработать денег, и английский – чтобы выйти замуж.

– За кого?

– За русских, – непонятно ответили они.

Но тут я вспомнил, что в России молодежь тоже учит английский, и решил, что они объяснятся.

– Что самое трудное в русском языке? – сменил я тему.

– Мягкий знак.

– И, несмотря на него, вы взяли за наш язык. Почему?

– Толстой, Достоевский, Пушкин.

– «Газпром», – перевела Мелина.

Обедать нас привезли в дунайский ресторан «Салаш».

– «Шалаш», – перевела Мелина, – как у Ленина.

Кормили, однако, лучше и можно было покататься – на лодке или верхом.

– Правда ли, что сербы не любят рыбу, – спросил я у автора романов в стиле магического реализма, – потому что в Дунае живут злые духи вилы?

– Нет, – сказал Горан, – неправда, просто смудж на базаре – десять евро с костями.

Смудж на поверку оказался судаком, к тому же очень вкусным. Мы ели его на берегу разлившейся реки. Под столом прыгали лягушки. Вдалеке на мелкой волне качался сторожевой катер дунайского военного флота. Рядом мирно стоял теплоход «Измаил» под жовтно-блакитным флагом. Мимо плыла подозрительная коряга.

– Из Венгрии, – присмотревшись, заметил Горан.

Между переменами я выскочил из-за стола, чтобы погладить лошадь.

– Зврк, – заметил на мой счет писатель слева.

– Зврк, – согласился с ним писатель справа.

– Зврк, – закивали остальные, включая лошадь.

– Что такое «зврк»? – не выдержал я.

– Юла, непоседа.

Спорить не приходилось, потому что я всегда первым и влезаю и вылезаю из автобуса, не переставая задавать вопросы. Меня, впрочем, тоже спрашивали, но только журналисты, которым поручили заполнить страницу между политикой и спортом. Каждый из них начинал с того, что обещал

задать вопрос, который до сих пор никому не приходил в голову. Звучал он всегда одинаково:

– Почему вы уехали в Америку? За свободой?

– Угу, – отвечал я.

Мелина переводила дословно, но репортер все равно вдохновенно строчил, надолго оставив меня в покое.

На прощание Мелина привела меня в самую старую часть города.

– Моя любимая улица, – сказала она, заводя в заросший травой тупичок.

У тропинки стоял беленый домик. В таком мог бы жить гном. В сумерках шмыгали мелкие кошки, сбежавшие из турецкой сказки. За забором уже цвела толстая сирень.

– По-нашему – йергован, – объяснила Мелина.

– Похоже, – согласился я от благодушия.

В этих краях оно меня редко покидает: не Восток, но и не Запад же, не дома, но и не среди чужих. Такое бывает со слишком прозрачным стеклом: кажется, что его нету, а оно есть, как выяснил один мой знакомый, пройдя из гостиной в сад через стеклянную дверь. К столу его вывели ни голым, ни одетым – в бинтах.

Романом с Сербией судьба что-то говорит мне, но я никак не различу что. Поэтому в балканских поездках мне мнится какая-то потусторонняя подсказка. Может, опечатка в адресе?

В самолете я пристегнул ремни – «ради безбедности лета», как уверяла меня последняя табличка на сербском, и устался в иллюминатор. Страны мелькали по-европейски быстро. Вскоре под крылом доверчиво расстелилась плоская Голландия – с воскресным футболом и бесконечными грядами тюльпанов. Они были разноцветными, как полосы на незнакомом флаге еще не существующей державы.

Внуки империи

Византия никогда не была молодой. Примерно так первые фантасты представляли себе марсиан: одряхлевшая, забывшая вымереть раса. Даже тогда, когда византийская столица только строилась, империю обременяла тысячелетняя римская история, длить которую ей предстояло еще столько же. Дети скоропалительной цивилизации, которую уже вот-вот обещает завершить экологический кризис, мы теряемся перед державным долголетием, выходящим за рамки нашего восприятия истории. Скорость несопоставима: все равно что катиться на лыжах по склону ползущего ледника.

Глядя на вещи с геологической точки зрения, можно сказать, что империя разливалась как магма: все, что с ней соприкасалось, становилось ею. Византия – созерцательная фаза римской истории. Был меч, стал щит, но метаболизм – тот же. Империя могла выжить, лишь переваривая варваров, в том числе – наших.

Для нее они, впрочем, все были на одно лицо, которое ей было лень разглядывать. Даже тогда, когда византийцы встречались с русскими в бою и в постели, они звали их, как Геродот, – тавроскифами. Считалось, что в их земле не светит Солнце и живут сказочные звери – зубры, моржи и белые, что особенно поражало не знавших настоящей зимы южан, зайцы. Еще империю интересовали икра и, как всегда, сол-

даты.

Война, однако, бывает и формой осеменения. Разрушив Храм иудеев, римляне разнесли по своей империи губительный для язычества монотеизм. Китайцы, выгнав лам из Тибета, сделали его религию всемирно известной и опасно притягательной. Разграбив Константинополь, крестоносцы украсили Европу, начав с ее лучшего города. Когда послы уже совсем умирающей империи отправились на Запад, чтобы умолять о спасении, они проезжали сквозь Венецию зазмурившись, не желая оплакивать родные колонны и статуи.

Последний византийский город, Венеция сохранила связь с Римом – и со вторым, и с первым. В ней еще бьется нерв той универсальной античности, которая не снисходила до раздела ойкумены на Восток и Запад. Не потому ли мы и любим ее так истерически, что тут нас стережет второе дно?

– Первое дно, – как объясняют историки, – стало причиной возникновения города, ибо оно спасало Венецию от пришельцев. Ее крепостью была лагуна: для конницы – слишком глубокая, для флота – слишком мелкая.

История становится собой только со второго раза – не когда происходит, а когда в нее играют. Прошлое обретает универсальную ценность в процессе стилизации: каждая культура ищет себе историческую рифму, замыкающую национальный характер в сонет, оперу или роман на манер Вальтера Скотта.

Так немецкие романтики из XIX столетия перекочевали в XVI, назначив его золотым веком тевтонской древности. Обставив ее мейстерзингерами, Дюрером и фахверковыми кварталами, они создали уютный миф, сумевший пережить войну. Щелкунчик в конечном счете победил Гитлера. Франция предпочла XVII столетие, которое в глазах благодарных, особенно иностранных, читателей останется веком мушкетеров. Англия Диккенса и Шерлока Холмса выбрала викторианскую эпоху. Китай – уже на наших глазах – освоил мифотворческий потенциал своих классических династий, обнаружив, что из них получаются самые красивые фильмы.

Но еще задолго до беспринципного постмодернизма проект трансформации сухой хроники в увлекательную беллетристику предложил Константин Леонтьев. «Византия, – писал он, – представляется чем-то сухим, скучным, поповским, даже жалким и подлым, потому что среди русских не нашлось писателя, который посвятил бы ей свой талант».

Вот почему мы можем перечислить Людовиков, но не Константинов, Генрихов, но не Львов. Перепутав империи, мы играли в рыцарей Запада, а не Востока. Пушкин писал про крестоносцев. Даже русский «Годунов» – трагедия шекспировская, как и ее герой – ренессансный самозванец. Что касается славянофилов, то они не писали романов. В результате единственный византийский боевик – «Андрей Рублев». И еще – знаменитая книга Аверинцева. В ней я прочел про константинопольских евнухов.

«Всякое начальство, начиная с императора, – объяснял Аверинцев византийский взгляд на вещи, – не от мира сего. Оскопить ради службы чиновника – значит избавить его от земных соблазнов и уподобить ангелам».

Как раз такие обитатели бюрократического рая густо населяют самое византийское сочинение в мире – «Замок» Кафки. Но наших классиков этот сюжет не волновал. Впрочем, был случай, который мог бы изменить ситуацию. В начале второго тома «Анны Карениной» Вронский встретил товарища по пажескому корпусу Голенищева: «У нас, в России, не хотят понять, что мы наследники Византии, – начал он длинное, горячее объяснение».

Но мы никогда не узнаем подробностей, которых Томасу Манну хватило бы на тетралогию, потому что Толстого не интересовал предмет и раздражала горячность. «Несчастье, – замечает Вронский, – почти умопомешательство видно было в этом подвижном, довольно красивом лице в то время, как он... продолжал торопливо и горячо высказывать свои мысли». Достоевского, в отличие от Толстого, Византия волновала неистово. Особенно – Константинополь, самая «великолепная точка Европы и земного шара». В «Дневнике писателя» Достоевский требует ее для России. Константинополь должен быть наш, – криком кричит он, словно подпрыгивая от нетерпения.

Стамбул, кажется, манил его, как Крым беспризорников: там тепло, там яблоки. Но зачем Москве Второй Рим, чтобы

стать Третьим, я до сих пор не могу понять. И не смогу, если верить архимандриту Джорданвильского монастыря, согласно учению которого концепция Третьего Рима доступна только православным. Но я все же из зависти в нее заглянул.

Империя, – размышлял русско-американский иерей, – может быть только одна, и она – наша. Рим объединил мир, чтобы Христос не отвлекался. С тех пор задача всех преемников кесарей – хранить православное царство, ни с кем не делясь, а главное, ничем не соблазняясь. Поэтому архимандрит благословляет две беды, спасшие русский народ от искушений Запада: татарское иго и «железный занавес». Благодаря им Москва все еще сохраняет надежду стать Третьим Римом, чтобы спасти человечество, послужив ему трамплином к небу.

Безупречность этой византийской логики – в отсутствии исторических разрывов. Не признавая пунктира, она придает прошлому смысл, трактуя обыкновенную историю как священную.

Одержимость бескомпромиссностью этого вектора (отсюда и в вечность) делает последним византийцем Солженицына. Вернувшись домой, он объявил отчизне рецепт спасения от смертельного недуга, диагноз которого был им так красноречиво и мужественно поставлен еще в прежней жизни. «Единственная надежда русских, – сказал Солженицын при большом стечении народа, – в том, что они должны стать воистину христианским народом». Услышав такое, мой

друг-философ Пахомов привычно пригорюнился: «Опять нам быть первыми».

Мой Константинополь был слишком долго Стамбулом. К тому же впервые я угодил в него в тот день, когда власть в стране захватила армия. Для турок этот переворот был уже четвертым, но для меня первым, и я решил запечатлеть исторический момент. Военным это не понравилось, и пленку у меня отобрали вместе с камерой.

– Янычары, – громко объяснила мне жена, забыв, что как раз тут этим именем гордятся.

Уйдя от греха подальше, мы отправились в исторический центр, но не увидели его. Между нами и достопримечательностями каждый раз оказывался торгующий коврами мужчина в бордовой феске и белых штиблетах, как у Остапа Бендера. Вспомнив, что тот тоже был турецким подданным, я сдался. С тех пор на стамбульском ковре живет наш кот, а Византию я ищу в дальних окрестностях ее бывшей столицы.

– Знаете, – признался я своему белградскому издателю, – готовясь к балканскому путешествию, я по привычке начал издавать, вызубрив имена византийских императоров и даты великих сражений.

– Напрасно, – хмуро ответил он, – наши руины – недавнего происхождения, к тому же у их автора имя не греческое, а латинское: Пентагон.

Но церкви все-таки были нашими, византийскими. В са-

мую старую нас привезли слушать древний акафист. Нам повезло: исполнять его согласился звезда византийского вокала Павле Аксентиевич, для простоты называвший себя Драгославом. Поскольку выступал он только в храмах, нам пришлось долго ждать, пока отпоют старушку. Зайдя в церковь, иностранцы пугливо отошли в сторону, а свои включились в церемонию. Глядя, как драматург Миливое, страстный поклонник Хармса и Довлатова, истово кладет поклоны, я понял, что церковь и тут на подъеме. Не умея принять участия в службе, я решил скоротать время, подружившись с видным греческим поэтом.

Анастасис отличала стать Ахилла, бруклинский акцент и умные до вороватости глаза левантийца. Видя в каждом эллине Гомера, я пристал к поэту хуже пиявки.

– Гиббон назвал греческий язык, – подмазывался я к эллину, – самым удачным созданием человеческого гения. Но мне, увы, удалось выучить на афинских улицах лишь одно звучное слово: МАЛАКА.

Я понял, что ляпнул, когда Анастасис сложился пополам, и на нас зашикали монахи.

– В приличном переводе это означает призыв к сольной любви, – разъяснил грек, отдышавшись, и по-свойски добавил: – Если не дают.

Лед тронулся, и мы бы перешли на «ты», если бы не говорили по-английски. Сперва прошлое поэта внушало мне подозрение: уж слишком хорошо он знал мою историю, вклю-

чая даты пленумов. Ну кто еще помнит отчество Микояна? Но потом я забыл о его левых симпатиях, ибо меня волновала судьба другой империи.

– Видите ли, – объявил я не без заносчивости, – сюда меня привел семейный интерес: мы ведь наследники Византии.

– А мы и есть Византия. Для нас она никогда не кончалась. Вот она, – твердо сказал он, показывая на полных мужчин, согласно затянувших одну, не меняющуюся ноту. – Это – наш оркестр: басы-исократы, а там, – ткнул он в правый угол, – ждет своей очереди второй хор: антифония.

– Для звучности? – не понял я.

– Нет, чтоб прихожане не заснули. Музыка Византии, как вся ее история, монотонна до святости. В этом – ее сила. Тут никогда не терпели прогресса, ибо считалось, что единственное будущее, которого стоило ждать, – вечность.

Мы вышли во двор и посмотрели на синее балканское небо, чтобы сравнить его с золотым потолком, в котором парил Пантократор.

– Ничего похожего, – сказал я.

– О том и речь, – согласился грек.

Мой Рим

Теперь-то мне кажется, что я никогда не жил без Рима, хотя на деле я никогда не жил в пределах его империи. На север она простиралась до 56-го градуса, Рига стояла на 57-м. Из-за географического положения город был заведомо лишен тех поэтических вольностей, что позволяют выпустить иллюстрированный том «Киев времен Траяна».

– Устарела твоя книга, – устыдили меня приятели, показывая свежую брошюру «Казачи против Ксеркса».

Эстонцы зашли с другого конца. В стихах, считавшихся в 60-е подпольным гимном нации, они сравнивали себя с дикими галлами:

И сказал Верцингеторикс: Цезарь!

Ты отнял землю, на которой мы жили.

Цезарь, однако, никак не походил на Брежнева, скорее уж на Хрущева, но только лысиной, которую тот прикрывал панамой, в отличие от Гая Юлия, прятавшего ее под лавровым венком.

Латыши выбрали окольный путь. Если элины считали варварами тех, кто мямлил «бар-бар», не владея человеческой, то есть греческой, речью, то для римлян цивилизация кончалась там, где вымерзали виноградники. Пивом балова-

лись только дикари. «Их напиток, – писал Тацит, не скрывая отвращения, – ячменный или пшеничный отвар, превращенный посредством брожения в некое подобие вина». Признав, что виноделие – цена римской прописки, курземские селекционеры засадили лозой южный склон одной отдельно взятой горы. Как и все остальные латвийские вершины, эта достигала лишь такой высоты, чтобы зимой с нее было удобно скатываться на портфеле.

Путь к единственному на всю Прибалтику винограднику лежал через поселок Сабиле. Его другой достопримечательностью была синагога, которую в войну сожгли вместе с евреями (цыган спас городской голова, за что они ему поставили памятник). Спросив в кабачке дорогу, мы услышали усталое: «Не промахнетесь». Шоссе и правда упиралось в пригорок, засаженный хилой лозой с мелкими гроздьями и аппетитными улитками. Компактные кущи охраняла высокая ограда с кассой. За небольшую мзду нам достался экскурсовод.

– При герцоге Якобе – заливался он, – наше вино экспортировалось в Европу, где оно славилось своей крепостью.

Я намекнул на дегустацию, но напрасно.

– В год, – прозвучал сухой ответ, – всего двести бутылок для важных мероприятий. Президентские банкеты – раз; велопробег «Сумасшедший виноградарь» – два...

– Но вы-то пробовали?

– Гадость такая, что лучше не спрашивайте. Зато оно вошло в книгу Гиннеса – как самое северное. Никто не знает,

где виноград родился, но умирает он на другом склоне этого холма.

«Трудным, – справедливо писал Гораций, – делает Вахх тем, кто не пьет, жизненный путь». Я слушался римского поэта еще тогда, когда не умел распутывать его головоломные гекзаметры. Они соединяют ловкость Пушкина с запутанностью кишечника. Неудивительно, что, погрузившись в потроха латыни, можно набрести там на упакованную, как чемодан, строфу Бродского.

Сам я мечтал об оригинале, веря, что второй язык обязан быть римским. Жизнь с ним кажется торжественной – как с вином. С раннего детства я принимал Рим лошадиными дозами и до сих пор думаю, что классическая стадия – неизбежная фаза в эволюции эмбриона на пути от земноводного к пенсии. Я искал урок героизма у Плутарха, а не в «Молодой гвардии», как уговаривала меня школа. Я тосковал по гимназической античности. Я готов был учиться у «человека в футляре». Уже студентом, нахальным и безалаберным, я прилежно зубрил безумное третье склонение, которое ведет себя не лучше Калигулы, если судить по знаменитому порнографическому фильму. «Лишь теперь, – признался Виктор Некрасов, посмотрев его, – я узнал, на что способна тоталитарная власть».

Сталина, надо понимать, ему не хватило.

Интересно, что Рим и впрямь веками стимулирует сек-

суальную фантазию наиболее просвещенной части человечества. Похоже, мы не способны себе представить, на что, кроме разврата, годится абсолютная власть. Что напоминает русскую сказку: «Живу, как царь, кто ни пройдет – в морду».

Устроившись на прокрустовом ложе подросткового воображения, римская история растянулась между непомерными доблестями и беспредельными пороками. Читая о последних у Светония, я наконец смог употребить вымученные знания, чтобы перевести с помощью большого (а не скромного, студенческого) словаря отрывок, застенчиво оставленный русскими издателями на латыни. Так я узнал, как называлось то, что у нас пишут на заборах: *mentula*.

Соблазн латыни, однако, не в лексиконе, а в грамматике. Ее синтаксис, как Лев Толстой, берется объяснить все на свете. Это – язык цивилизации. С помощью союзов он навязывает миру причины и следствия, предпочитая видимость порядка анархии бессоюзного равноправия. Именно поэтому латынью пользуется каждая страна, претендующая на свою долю римского наследства. Так, в Петербурге, где плотность колонн больше, чем на Форуме, памятники изъясняются с римской краткостью. На одном, одетом в консульские доспехи, написано просто: «Суворову». Это и есть латынь с ее умением строить предложение из косвенных падежей.

Лишь под напором отчаяния, как это случилось у Сенеки и Беккета, синтаксис разваливается на равно важные и никому ничем не обязанные фрагменты речи. И тогда нам слы-

шен голос не родины, а души. Ей, уставшей от насилия порядка, дает высказаться поток сознания, в том числе – скифского:

Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...

Горация меня научил любить Гаспаров, тот самый – Михаил Леонович. «Главная строка, – писал он, – всегда первая: ода – не басня: морали не будет». Стихи Горация, понял я, только кажутся банальными и говорят об одном: живи незаметно, как Эпикур, и будь знаменит, как Август.

С Аверинцевым, который больше любил Вергилия, мне довелось говорить на радио.

– В чем смысл империи? – спросил я его в год, памятный для Беловежской пуши.

– В том, – ответил он мне 25-минутной лекцией, – что каждая считает себя единственной. Империю убивают не варвары, а утрата веры в исключительность своей правоты.

Мне, похоже, выпало жить сразу в двух империях, развивающих этот тезис. Если Москва – третий Рим, а Петербург – четвертый, то Вашингтон – пятый. «Здесь, – сказал Менделеев, посетив Америку, – повторяют на новый манер старую римскую историю». Убедив себя в этом сходстве еще на заре своей истории, Америка до сих пор за него держится.

В Капитолии заседают сенаторы, в Вест-Пойнте преподают Полибия, в Белом доме портят весталок, и каждый доллар говорит на латыни: «*Novus ordo seclorum*».

«Новый порядок» вещей оказался пугающе старым, когда из декоративной параллели Рим стал историческим прототипом. Слишком хорошо зная прошлое своей предшественницы, Америка решает жгучий вопрос: в каком веке Римской империи она живет – серебряном втором или железном третьем?

При этом в глубине души Америка, что бы ни думали ее враги, друзья и соперники, никогда не хотела ни римской судьбы, ни ее славы. То-то подсознание страны – Голливуд – постоянно отпихивает роль Рима, которую Америке навязывают обстоятельства. Если политический ритуал Америки настоян на классических добродетелях, то ее искусство выросло из романтических соблазнов. Поэтому Голливуд опровергает то, что исповедует Вашингтон. В не выходящих из моды фильмах «сандалий и тоги» добро приходит с окраин римской ойкумены. Отождествляя себя на экране с неиспорченным дикарем, Америка играет роль новичка, не испорченного роскошью уже тогда старого света. Обычно это – гладиатор-христианин на раскаленной арене.

Но, спрашивается, кто же тогда Рим в этих пышных декорациях? Тоже Америка. Она сама себе раб и хозяин: оплот развращенной цивилизации и бастион чистосердечного варварства.

С ним, впрочем, после 11 сентября стало сложнее. Ощувив собственную хрупкость, цивилизация простила создавших ее «мертвых белых мужчин», многие из которых носили тоги. Об этом еще никто не говорит, но уже все знают: 11 сентября кончилось смутное время мультикультурализма. «Это – не война цивилизаций, это – война за цивилизацию», – сказал Тони Блэр.

Террор разбудил давно уснувшую любовь к классике, которая постепенно вновь вползает в жизнь взамен еще недавно столь любимой (в том числе и мной) архаики. Сегодня заигравшаяся с первобытными стихиями цивилизация вспомнила, что, собственно, было до нее: темно, страшно, скисшее пиво.

Встретившись с варварским напором, мы забыли романтическую мечту о благородном дикаре. Его труп погребли руины «близнецов».

Рим нам стал примером потому, что его границы определены не пространством, а временем. Этим одна античность отличается от другой.

Римляне жили в исторически обозримых параметрах: 753–410. Зато Эллада – бездонна, а греки – кентавры. История эллинов началась в животном царстве. Об этом проговариваются химеры. Глядя на них, мы чувствуем, что рубеж между зверем и человеком размыт и *Homo sapiens* – еще свежая новость.

Рим – другое дело. Как Америка, он помнит себя со дня рождения. Еще важнее, что мы точно знаем, как и когда он умер. Греков, скажем, сколько угодно. Один, скорняк, даже живет в соседнем доме. А вот римлян больше нет – и не будет.

«Я выбрал профессию, – сказал на склоне лет тот же Гаспаров, – которая оказалась короче жизни». Сперва меня удивило, что даже Рима ему было мало. Потом я понял, что имелось в виду. Рим обозрим и закончен. Каждый отличник может прочесть всё (всё!), что от римлян осталось, а до нас дошло.

Изучив его прошлое глубже своего, мы увидели в Риме Ветхий завет Запада: перечень мудрых законов, которые не спасли от роковых ошибок. Чтобы исправить их, понадобился Новый завет с историей, но и она может завершиться не лучше предыдущей. Рим позволил нам включить в свое историческое сознание опыт смерти.

Когда я впервые оказался в Риме, до этого было еще далеко. Гаспаров, встретившись наконец с настоящим Римом, не хотел выходить из отеля, чтобы не испортить сложившегося за долгую жизнь впечатления. Для такого стоицизма я был нетерпелив и молод, что уж точно не мешало любви.

В день первого свидания меня сопровождал не Тацит, а Феллини. Смеркалось. Идя по городу, я перемещался из дневного «Рима» в вечернюю «Сладкую жизнь», надеясь добраться до «Сатирикона». Выйдя за городские пределы, ми-

новав гетер, встречавших грузовики, я шагал в беззвездной тьме.

Теперь я ничего не видел, но все помнил. От окружающего осталось только название: Аппиева дорога. Я шел по ней, не беспокоясь о возвращении. Кто же не знает, что все дороги ведут в Рим.

По пути в Венецию

В январе даже в Италии темнеет рано, а когда ночь прячет архитектуру от завистливого глаза, в городе остается только луна, вода и люди. Молодых немного, разве что – гондольеры. Один обнимал красивую негритянку. Она могла бы быть правнучкой Отелло, если бы тот доверял Дездемоне. Но чаще всего на улицах – старики. Мягкое время года они переживают в недоступных туристам щелях. Зато морозными вечерами старики выходят на волю, как привидения, в которых можно не верить, если не хочется. Живя в укрытии, они состарились, не заметив перемен. Дамы все еще ходят в настоящих шубах.

За одной (она была надета на пышную, как Екатерина Вторая, старуху) я ходил весь вечер. Роскошное манто ныряло в извилистые проходы, сбивая с толку лишь для того, чтобы призывно показаться на близком мостике. Я шел по следу с нарастающим азартом, пока старуха окончательно не исчезла в казино. Только тут мне удалось остановиться: я вспомнил «Пиковую даму».

Старики в Венеции носят пальто гарибальдиевского покроя. По странному совпадению, я сам был в таком. Полы его распускаются книзу широким пологом, скрадывающим движения и прячущим шпагу, лучше – отравленный кинжал. Сшитый по романтической моде, этот наряд растворя-

ется в сумерках без остатка. Чтобы этого не произошло, поверх воротника повязывается пестрый шарф. Нарушая конспирацию, он придает злоумышленникам антикварный, как все здесь, характер. Поэтому каждому встречному приписываешь интеллигентную профессию: учитель пения, мастер скрипичных дел, реставратор географических карт.

Одну из них я как следует рассмотрел во Дворце дождей. К северу от моря, которое мы называем Каспийским, простиралась пустота, не населенная даже воображением. Карта ее называла «безжизненной Скифией». На другом краю я нашел Калифорнию. Вокруг нее расстилалась другая пустыня: «земля антропофагов».

Не пощадив ни старую, ни новую родину, венецианская география предложила мне взамен такую версию пространства, которая лишает его здравого смысла. Здесь все равно – идти вперед или назад. Куда бы ты ни шел, все равно попадешь, куда собирался. Тут нельзя не заблудиться, но и заблудиться тоже нельзя. Рано или поздно окажешься, где хотел, добравшись к цели неведомыми путями. Неизбежность успеха упраздняет целеустремленность усилий. Венеция навязывает правильный образ жизни, и ты, сдаваясь в плен, выбираешь первую попавшуюся улицу, ибо все они идут в нужном тебе направлении.

Отпустив вожжи, проще смотреть по сторонам, но зимней ночью видно мало. Закупоренные ставнями дома безжизненны, как склады в воскресенье. Обитаемое жильё выделяет-

ся желтым светом многоэтажных люстр из Мурано. Просачивающийся сквозь прозрачные стекла (в них здесь знают толк), он открывает взгляду заросшие книгами стены и низкий потолок, расчлененный почерневшими за века балками. Видно немного, но и этого хватает, чтобы отравить хозяина и занять его место.

Я поделился замыслом с коренной венецианкой, но она его не одобрила.

– Знаете, сколько в этом городе стоит матрац?

Я не знал, но догадывался, что с доставкой по каналам обойдется не дешево.

– В наших руинах, – заключила она, – хорошо живется одним водопроводчикам: тут все всегда течет.

Первый раз я попал сюда из Рима, где начинающие эмигранты ждали визу в Америку и обживали Италию с помощью пообтершихся товарищей, устраивавших экскурсии на Юг или Север. Я выбрал последнее направление, хотя, казалось бы, недавно оттуда приехал.

Путь к Сан-Марко лежал через барахолку с обманчивым названием «Американо». Русские всех национальностей торговали здесь скарбом, вырванным напоследок у империи. Хуже всего шли матрешки. Даже мы не знали, что с ними делать. Зато, как это повелось с древности, римляне ценили варяжский янтарь. И еще – ленинградский фотоаппарат «Смена» с цейсовской оптикой. Держа в одной руке

камеру, а в другой бусы, я, приплясывая от нетерпения, торопился втюрить свой товар недоверчивым прохожим. Торговля шла вяло. Твердо по-итальянски я знал только слово «Чипполино». Зато говорил на латыни: «*Exegi monumentum aere perennius*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.